

---

---

Игорь МОЩИЦКИЙ

## ПЯТЬ ПИСЕМ ИЛЬФА

Все талантливые люди пишут разное, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком.

Илья Ильф

### Мой мощный друг

Так обращался Ильф в письме к юной девушке по имени Тая перед ее отъездом в Ленинград в 1922 году из родной для них обеих неподражаемой Одессы. А в 1968 году в майском томе историко-биографического альманаха «Прометей» появился отрывок из неоконченной книги воспоминаний Таи Григорьевны Лишиной (той самой Таи), где было представлено это письмо и еще два письма Ильфа, адресованные одновременно Тае и ее ровеснице, начинавшиеся с обращения: «Нежные и удивительные!» Большую часть жизни одесситка Тая проработала референтом в Ленинградском отделении Союза писателей, и хорошо ее знавший Даниил Александрович Гранин в «Автобиографии» написал: *«Но может, более всего помогал мне участливый интерес ко всему, что я делал, Таи Григорьевны Лишиной, ее басовитая беспощадность и абсолютный вкус... Многие писатели обязаны ей. У нее в комнатке постоянно читались новые стихи, обсуждались рассказы, книги, журналы...»*

Став ленинградкой, Тая Григорьевна сохранила неповторимый одесский шарм, благодаря которому казалась одновременно и величественной и озорной. Подобных людей уже не бывает, по крайней мере, я не встречал и убежден, что каждый, кого она удостоила беседы хотя бы раз, мог бы рассказать про нее что-нибудь интересное, а из воспоминаний о ней всех ее друзей и знакомых мог бы получиться целый роман, ну, в крайнем случае повесть. И хотя мне довелось общаться с Таей Григорьевной только в последние годы ее жизни, для начала я хочу внести небольшую лепту в ненаписанный о ней роман.

Первую свою встречу с Таей Григорьевной, думаю, мне не забыть никогда. В теплый июльский день своего последнего студенческого лета я привез маму в Зеленогорский дом отдыха и собрался уезжать в Ленинград. Перед отъездом мы присели на скамейку возле деревянного дома, куда ее поселили, и тут неизвестно откуда появилась немолодая пара — мужчина, одетый по моде тридцатых годов в белые брюки и курточку, а за ним, на расстоянии нескольких шагов, дама с каким-то предметом в руках. Вид у нее был расстроженный.

---

Мощицкий Игорь Иосифович. Член Союза писателей и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Написал более двадцати пьес и не менее двухсот текстов песен к разным спектаклям. Спектакль «Прощай Россия» Александринского театра стал лауреатом международного и российских театральных конкурсов. В 2016 году его пьеса «Мой бедный Бенджи», написанная на основе романа Фолкнера «Шум и ярость», вошла в шорт-лист VIII Международного Биеннале современной драматургии. В 2017 году стал дипломантом Международного литературного конкурса имени Н. В. Гоголя за книгу «Записки конформиста».

— Сеня, разве можно так огорчаться из-за этой пары пустяков? Всего-то и надо обратиться к шорнику. Сеня! — взывала она, но он, явно чем-то обиженный, неумолимо ускорял шаги.

День стоял жаркий. Обливаясь потом, нехуденькая дама не сбавляла темп, пытаясь догнать беспощадного Сеню, а тот и не думал останавливаться. Он быстрыми шагами продефилировал мимо нас и исчез за углом дома. Вслед за ним исчезла и дама. «Какая колоритная тетя», — подумал я и засмеялся. Мама тоже засмеялась, и тут пара снова появилась. Обиженный Сеня решительными шагами вошел в дом, а дама остановилась, и было видно, как она страдает от его непонимания. В руках у нее был все тот же предмет, спасти который мог только шорник. Мне казалось, что шорник — это специалист по конской упряжке, но предмет, который дама держала в руках, не был похож на конскую сбрую. Немного пострадав, она тоже вошла в дом, а мы с мамой снова прыснули от смеха, и я заспешил на станцию. Через день мама позвонила из Зеленогорска и сказала, что я могу приехать к ней дня на три. Она договорилась, и меня где-то поселят. Я стал отнекиваться, но она настаивала:

— Приезжай, надо же тебе воздухом подышать. И кстати, я познакомилась с очень интересной женщиной. Она работает в Союзе писателей и хорошо знает твоего Володина.

«Мой Володин» — это знаменитый драматург Александр Моисеевич Володин, который какое-то время работал руководителем литературного объединения у нас, в Технологическом институте имени Ленсовета, и для меня «знает Володина» априори означало хороший человек.

— Это не та самая тетя? — осенило меня.

— Та самая, — догадалась мама. — Только не называй ее тетя. Она очень интересный человек.

— Ты же над ней смеялась.

— Смеялась? Над Таей Григорьевной? Не помню. Кстати, она заинтересовалась, когда узнала, что ты пишешь стихи.

— Зато я ею не заинтересовался.

Все же через два дня я приехал в Зеленогорск, и там практически мгновенно был представлен Тае Григорьевне.

В этот раз она не показалась мне смешной. Хорошее лицо, умные большие глаза.

— Я слышала, что вы поэт, — объявила она с ходу.

В то время я действительно пробовал писать стихи, но считал: назваться поэтом — это как назвать себя красавцем, и в словах ее углядел насмешку.

— Не поэт, а инженер, — ответил я резко.

— Ну, вы пока не инженер, а студент, — поставила она меня на место и отошла, мол, что с дураком разговаривать.

Чуть позже мы снова случайно встретились, и, видимо, забыв мою дерзость, она заговорила со мной о литературе, при этом устроила мне экзамен: читал ли я то, се, а если не читал — почему? Я отвечал сносно, правда, перепутал Марселя Пруста с Болеславом Прусом, но был за это прощен. А когда рассказал, что у нас в институте существовало понятие «ильфизм», очень ее заинтересовал.

— «Ильфизм» — это степень знания романов Ильфа и Петрова. Ну, например, один спрашивает другого: «Что ответили разъяренные васюкинские любители шахмат на вопрос Ипполита Матвеевича: «Господа! Неужели вы нас будете бить?»

— И что они ответили? — лукаво поинтересовалась Тая Григорьевна.

— «„Еще как“, — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в воду», — четко процитировал я фразу из «Двенадцати стульев».

— Это был несложный вопрос, — улыбнулась Тая Григорьевна.

— Были у нас вопросы и посложней. Например: что после кражи сумочки в трамвае сказал Шура Балаганов, когда его потащили мимо Остапа?

— Что же он сказал? — поинтересовалась Тая Григорьевна.

— Он горестно шептал: «Что ж это такое? Ведь я машинально», — еще раз продемонстрировал я знание «Золотого теленка».

— Начетнически вы обе книги знаете, — заключила Тая Григорьевна. — А вот ответьте: когда Остап цитировал Ленина?

— Не знаю, — растерялся я.

— Когда говорил Воробьянинову: «Учитесь торговать!» — победно посмотрела на меня она.

«Неплохо. Человек в возрасте, а так знает Ильфа и Петрова», — подумал я, не подозревая, что Ильф и Тая Григорьевна дружили в молодости.

После обеда я снова оказался в ее обществе. Мы присели на скамейку невдалеке от шоссе, и неожиданно рядом с нами возник муж Таи Григорьевны, тот самый Сеня. Видимо, шорник его таки спас, потому что он был в отличном настроении.

— Семен Арнольдович, — представился он и сел рядом с Таей Григорьевной.

— Вы тоже имеете отношение к литературе? — поинтересовался я.

— Литературу я знаю и люблю через жену, — снисходительно ответил Семен Арнольдович.

Я было задумался, как можно любить литературу через жену, но отвлек остановившийся возле нас парень, видимо, знакомый Тае Григорьевне. В глазах его была тоска.

— По-моему, тебя терзают немислимые заботы, — сочувственно улыбнулась ему она.

— Да вот, в игротке бильярдный стол свободен, а подходящего партнера нет, — печально ответил тот.

— А ты попроси Семена Арнольдовича составить тебе компанию. Только учти, он тебя обыграет.

— Прямо обыграет. Вы даже не видели, как я играю, а такое заявляете на весь свет, — обиделся парень и посмотрел на меня. Видимо, в этот момент весь свет в его глазах представлял я.

— Непременно обыграет. Он самого Владимира Владимировича обыгрывал, а тот был великий бильярдист, — настаивала Тая Григорьевна.

— Не знаю такого бильярдиста, и, значит, он не великий, — разгорячился молодой человек и грозно посмотрел на Семена Арнольдовича: — Интересно будет посмотреть, как вы меня обыграете. Ну что, идем?

— Идем, — согласился Семен Арнольдович и нехотя поднялся со скамейки.

Когда они ушли, я спросил Таю Григорьевну:

— Кто этот Владимир Владимирович, которого вы назвали великим бильярдистом?

— Маяковский, — ответила Тая Григорьевна.

Я тогда увлекался ранним Маяковским и, желая понравиться девочкам, читал им, например, такие его строчки:

Но меня не осудят,  
но меня не облают,  
как пророку, цветами устелят мне след.  
Все эти, провалившиеся носами, знают:  
я — ваш поэт.  
Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!  
Меня одного сквозь горящие здания  
проститутки, как святыню, на руках понесут  
и покажут богу в свое оправдание.

О, как бы я гордился, если бы лично знал Маяковского. А тут выясняется — муж Таи Григорьевны играл с ним в бильярд, и она говорит об этом как о рядовом событии.

— Может, и вы были знакомы с Маяковским? — робко спросил я ее.

— Была. Мы даже однажды ходили к нему с Эдди читать свои стихи.

— С каким Эдди? — не понял я.

— С Багрицким, — пожалала плечами Тая Григорьевна, мол, неужели непонятно, что к Маяковскому она могла прийти только с этим Эдди и ни с каким другим.

Но мне было непонятно. Как раз в том году мама подарила мне сборник Багрицкого с теплой надписью: «Жду в скором времени книжку твоих стихов», и обрывки его стихов я знал наизусть. Например: «От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены... Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды, и горечь полыни на наших губах...» Или: «Я не запомнил, на каком ночлеге пробрал меня грядущей жизни зуд. Качнулся мир. Звезда споткнулась в беге и заплескалась в голубом тазу...» Багрицкий казался мне далеким классиком, дальше, чем Маяковский, и, вдруг, Тая Григорьевна называет его Эдди. Между тем она продолжала:

— Мы пришли на квартиру к Маяковскому в назначенное им время. Он лежал на кушетке, и мне показалось, что у него короткие ноги, а рост высокий из-за длинного туловища. По случаю нашего прихода встать он не пожелал, а с ходу объявил, что готов нас слушать. Маяковский был всего на два года старше Багрицкого, но для нас он был мэтром, и от смущения Эдди вместо того, чтобы читать свои стихи, прочитал мои. Ну а я прочитала стихи Эдди. Что мне оставалось делать? Так весь визит к Маяковскому каждый из нас вместо своих читал стихи другого. Когда мы закончили, Маяковский, не вставая с кушетки, достал с книжной полки по сборнику своих стихов для нас. На моем экземпляре он написал: «Той, которая не чирикает». Впрочем, эта надпись могла относиться скорее к Багрицкому, поскольку я читала его стихи. Ему он тоже написал что-то, видимо, относившееся ко мне. К сожалению, подаренная мне Маяковским книжка пропала во время войны.

После небольшой паузы Тая Григорьевна вспомнила Лию Брик.

— Она была тоненькая, как спичка, а Маяковского свела с ума. И не только его. Что они все в ней нашли? Кстати, во многом своей посмертной жизнью он обязан ей. Когда не стало Маяковского, его стихи перестали издавать. У нас не любят самоубийц. Как же, написал «в нашей буче, боевой, кипучей... и жизнь хороша, и жить хорошо», а потом взял и застрелился. Контрреволюция какая-то. Тогда Лиля Брик написала Сталину прошение об издании собрания его сочинений. На этом прошении Сталин и начертал свое знаменитое: «Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается величайшим поэтом нашей эпохи».

Лиля была у властей не в чести, и роль Бриков в жизни Маяковского замалчивалась, поэтому для меня откровением стал рассказ Таи Григорьевны о том, что знаменитые сталинские слова о Маяковском были всего лишь начертаны на прошении Лили Брик, а не произнесены с какой-нибудь высокой трибуны.

Наша беседа с Таей Григорьевной продолжалась, пока не появились Семен Арнольдович и ее молодой знакомый. Выглядел тот еще печальней, чем когда подошел. Как и предсказывала Тая Григорьевна, Семен Арнольдович его обыграл.

На следующий день я уехал в Ленинград, где начисто забыл и Зеленогорск, и Таю Григорьевну. Но осенью, в середине сентября мама попросила меня отвести Тае Григорьевне дефицитный в то время двухтомник Брета Гарта, который для нее купил знакомый художник в городе Выборге. Тая Григорьевна жила в знаменитом доме на Карповке, построенном в тридцатые годы для советской элиты — удачном, как мне объяснил знакомый архитектор, — образце позднего конструктивизма. Она и Семен Арнольдович занимали тридцатиметровую комнату с балконом в двухкомнатной квар-

тире. В другой комнате жили жена с мужем — прокурорским работником, который регулярно являлся домой пьяным. По тем временам такие жилищные условия считались хорошими. Мы с мамой жили в двадцатиметровой комнате аж пятикомнатной квартиры, и это было еще ничего. Мой одноклассник жил вместе с папой, мамой и старшей сестрой в десятиметровой комнате. А соседи, что ж, они от Бога.

Тая Григорьевна и Семен Арнольдович обрадовалась и мне, и книжкам. Быстро пролистав оба тома, Тая Григорьевна сказала:

— Спасибо за услугу. Теперь у меня есть свой Брет Гарт. Знаешь, что про него сказал Осип? Нет? Он сказал: «Я тысячу раз брошу беллетристику с психологией Андреева, Горького, Шмелева, Сергеева-Ценского, Замятина ради великолепного Брета Гарта».

Знакомый Таи Григорьевны по имени Осип, который любил Брета Гарта больше Горького и других, оказался Осипом Эмильевичем Мандельштамом, но если бы Толстой, Достоевский, Пушкин оказались для нее простолевой, Фёдей и Сашей, я бы тоже не удивился.

Меня пригласили пить чай. Тая Григорьевна накрыла стоявший посредине комнаты большой обеденный стол красивой скатертью и поставила чайный сервиз, как мне показалось, дореволюционного происхождения. Похожие сервизы с кобальтовой сеткой я потом видел не больше двух раз, да и то в кино. К чаю было подано покупное, но очень вкусное печенье. После чая Тая Григорьевна пригласила меня посидеть с ней на балконе, и там состоялся очень интересный для меня разговор. То есть говорила одна Тая Григорьевна, и поначалу разговор был веселый. Тая Григорьевна рассказала про двух парней, которые ходили по квартирам, представляясь работниками Ленгаза. Они объясняли жильцам, что пришли взять пробу бытового газа для проверки, нет ли в нем вредных веществ типа метана или чего еще пострашней, после чего требовали пустую бутылку, неважно, из-под молока или водки, которую подносили к зажженной газовой конфорке, а затем запечатывали чем-то вроде сургуча. Полученные бутылки парни сдавали в приемные пункты, которых тогда в городе было полно, и бизнес их процветал, пока какой-то бдительный товарищ не сообщил об их деятельности в милицию. В результате последователям великого комбинатора было предъявлено обвинение по статье «мошенничество», предусматривавшей тюремный срок до двух лет. Когда на суде прокурор зачитывал обвинительное заключение, в зале стоял смех. Судья попробовал утихомирить зал и расхохотался сам. Приговор от этого мягче не стал: сколько обвинитель просил, столько парням и дали, но любители посещать судебные заседания говорили, что более веселого процесса они никогда не видели. Мы с Таей Григорьевной тоже улыбнулись, а потом она рассказала мне, что некие молодые люди придумали — и это во времена тотальной цензуры — выпускать самиздатовский журнал, в котором объясняли народу, почему у нас все не так, как Ленин завещал.

— Их найдут, непременно. Наши власти всегда боялись молодежи и теперь боятся. Ничего никому не забудут и не простят, — сказала она.

Одного из тех молодых людей, Бориса Зеликсона, Тая Григорьевна хорошо знала: он учился в школе вместе с детьми ее ближайшей подруги Лины Осиповны Коротковой (о ней речь впереди). Поступив в Технологический институт, Борис стал там признанным студентами, и преподавателями комсомольским вождем, поскольку был несгибаемым ленинцем, но со временем у него стало расти раздражение из-за несоответствия социалистической действительности положениям работы Ленина «Государство и революция». Когда оно достигло максимума, ему кто-то дал почитать самиздатовский журнал «Колокол», издателей которого (в просторечии «колокольчиков») Валеру Ронкина, Сережу Хахаева, Веню Иоффе и Вадика Гаенко он знал еще по институту. Услышав, что журнал Борису понравился, Валера Ронкин и Сережа Хахаев дали почитать ему еще и свою книгу «От диктатуры бюрократии — к диктатуре

пролетариата». Книга ему так понравилась, что он решил показать ее своим знакомым, а те тоже стали ее кому-то показывать, пока кто-то не стукнул куда следует, и читательская конференция в КГБ оказалась неминуема. Там он встретился не только с Валерой и Сережей, но и с их друзьями, тоже в прошлом верными ленинцами. В ходе следствия от Бориса потребовали признать умысел в действиях, которые в соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса РСФСР квалифицировались как направленные против Советской власти. Боря умысел отрицал — он просто давал знакомым почитать интересную книжку, но ему пригрозили, что арестуют его жену, которая тоже давала почитать эту книжку своим знакомым, и Боря умысел в своих действиях признал, после чего заодно с «колокольчиками» загремел в мордовские лагеря. Выйдя из лагеря, Борис понял, что главное его призвание все-таки инженерная работа, и к самиздатовской деятельности интерес потерял.

Последний раз я встретил Бориса на похоронах Лины Осиповны Коротковой. На мой вопрос, чем сейчас занят, Борис ответил, что находится «в состоянии сумасшедшего изобретателя». Думаю, в таком состоянии он находился не один год, потому что к концу жизни у него насчитывалось более 200 изобретений и научных работ. О безвременной кончине Бориса Зелексона мир оповестила большим некрологом с его портретом главный печатный орган обкома КПСС газета «Ленинградская правда». Не каждый верный ленинец, пусть и бывший, достаивался такой чести.

В тот далекий сентябрьский вечер, когда я первый раз оказался у Таи Григорьевны дома, разговор о самиздатовском журнале был недолгим, но, думаю, об его издателях ей было известно намного больше, чем я услышал тогда. Она быстро переменяла тему и заговорила о Гумилеве, который был в то время под жестким запретом. Из всего, что он написал, я знал только строчки, которые декламировала женщина-комиссар командиру корабля в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, после чего он ей отвечал: «Очень любопытно, что вы наизусть знаете Гумилева».

— Это из знаменитой баллады Гумилева «Капитаны», которая вошла в его книгу «Жемчуга», — улыбнулась Тая Григорьевна. Она достала откуда-то книжку с дореволюционным шрифтом и прочитала:

На полярных морях и на южных,  
По изгибам зеленых зыбей,  
Меж базальтовых скал и жемчужных  
Шелестят паруса кораблей...  
И, взойдя на трепещущий мостик,  
Вспоминает покинутый порт,  
Отряхая ударами трости  
Ключья пены с высоких ботфорт,  
Или, бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так, что сыпется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет.

— Гумилев был великим путешественником, — продолжила она. — Повседневность его не интересовала. Он даже сказал о себе: «Откуда я пришел, не знаю. Не знаю я, куда уйду, когда победно отблестю в моем сверкающем саду». Но есть у него два особых стихотворения. В них он предсказал свою смерть. Сейчас я их тебе покажу.

Тая Григорьевна вышла и вернулась с папкой, откуда вытащила пожелтевший листок бумаги.

— Это стихотворение называется «Рабочий», — сказала она. — Написано в благополучном для Гумилева 1903 году, когда ничто не предвещало будущих трагических событий. Однако послушай:

Он стоит пред раскаленным горном,  
Невысокий старый человек.  
Взгляд спокойный кажется покорным  
От миганья красноватых век.  
Все товарищи его заснули,  
Только он один еще не спит:  
Все он занят отливаньем пули,  
Что меня с землею разлучит...

Тая Григорьевна достала из папки другой пожелтевший листок.

— А это стихотворение Гумилев написал в 1919 году, за два года до своей гибели.

Шел я по улице незнакомой  
И вдруг услышал вороний грай,  
И звоны лютни, и дальние громы,  
Передо мною летел трамвай.  
Как я вскочил на его подножку,  
Было загадкою для меня,  
В воздухе огненную дорожку  
Он оставлял и при свете дня.  
Мчался он бурей темной, крылатой,  
Он заблудился в бездне времен...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон!..

Так я впервые услышал гениальное стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай». Я не знал тогда и толком не знаю теперь, участвовал ли Гумилев в заговоре Таганцева, но страшные строчки «Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон!» звучали как предупреждение: «Не делай этого, Гумилев! Иначе окажешься там, где „вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают“, и осуществится твой страшный сон: „В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне, она лежала вместе с другими здесь в ящике скользком, на самом дне“». Но Гумилев проигнорировал собственное пророчество, повел себя, как должно, и погиб. Тая Григорьевна увидела, что оба стихотворения произвели на меня впечатление, и была довольна, как человек, проделавший нужную работу. Я уехал домой с намерением приехать к Тая Григорьевне через неделю, но началась преддипломная практика, за ней защита диплома и работа на заводе, отнимавшая все силы. В общем, снова я увидел ее только через четыре года, и произошло это случайно. Как-то после работы я пошел в Концертный зал, что у Финляндского вокзала, на вечер писателя Льва Кассиля, которого полюбил еще в пионерском лагере, когда впервые прочитал «Кондуит и Швамбранию» и небольшую остроумную его книжку «Маяковский — сам». Маяковский первым представил Кассиля публике как детского писателя в журнале «Новый ЛЕФ» в 1927 году, и с рассказа о нем Кассиль начал свое выступление. Вспомнил он и других известных людей, причем, несмотря на свою неважную дикцию, демонстрировал их манеру говорить, почти как артист-пародист. Во второй части выступления Кассиль рассказал о своей недавней поездке в Америку, где он встретился с Мэри-

лин Монро и ее тогдашним мужем Артуром Миллером, которому он поведал, каким успехом пользуются его пьесы в Советском Союзе. «Слышал, слышал, а карманом не ощущал», — ответил Миллер, имея в виду, что Советский Союз в нарушение международного права не переводил ему авторские отчисления за спектакли по его пьесам. Кассиль почему-то возмущение Миллера расценил как мещанство. А еще Кассиль рассказал о посещении им в Америке церкви, где Царские Врата украшал абстрактный рисунок. Пораженный Кассиль спросил у священника: «Как это возможно вместо Благовещения?», и тот ответил ироническим вопросом: «А что, в Советском Союзе более конкретное представление о Боге?» На этом месте раздалась аплодисменты. Видимо, залу, заполненному атеистами поневоле, не хватало конкретики о Боге.

По окончании встречи я заметил в фойе Таю Григорьевну и подошел к ней. За время, что я ее не видел, она погрузнела, а из глаз исчез прежний задор. Я подумал, наверно, с Семеном Арнольдовичем что-то случилось, уж больно глаза у нее печальны. Увы, как я узнал позже, он действительно умер год назад. Рядом с Таей Григорьевной в хорошем костюме с галстуком стоял парень лет на пять старше меня. Я решил — родственник, но оказалось, знакомый врач. Мы поздоровались, и Тая Григорьевна спросила:

— Где ты сейчас?

Я ответил, что работаю на заводе, но буквально на днях собираюсь перейти в НИИ.

— Что-нибудь пишешь?

— Пытаюсь, — засмутился я, хотя на самом деле ничего не писал, а только думал на эту тему.

Она взяла паузу, как бы размышляя, стоит продолжать разговор со мной или нет, и наконец приняла решение:

— Постой здесь. Мне надо переговорить слевой. Думаю, это будет недолго.

Тая Григорьевна ушла, чтобы переговорить с Львом Кассилем, и вернулась минут через двадцать.

— Лева, пытаюсь подражать Андроникову, очень вырос как рассказчик. Хотя до Ираклия ему далеко, — сообщила она мне и доктору по дороге в раздевалку. Там она еще кого-то встретила, а я заспешил домой.

— Позвони мне послезавтра. Поговорим, — сказала она мне на прощание и добавила: — Маме кланяйся.

### **Как много нам открытий чудных...**

На следующий день у меня дома раздался долгожданный звонок из НИИ, где я мечтал трудиться, а там меня надолго отправили в командировку в город Витебск, и Тае Григорьевне я позвонил лишь полгода спустя. Все же она милостиво пригласила меня приехать, и так, спустя почти пять лет, я снова оказался в доме на Карповке. В комнате Таи Григорьевны ничего не изменилось: те же обои, та же мебель, но комната уже не показалась мне такой веселой, как пять лет назад. И сама Тая Григорьевна иная, в глазах печаль и настороженность. Они словно предупреждали: «Только не спрашивай про Семена Арнольдовича, моего дорогого Сеню, слишком недавно это все с ним случилось», и лишь когда она убедилась, что я не стану приставать к ней с бестактными вопросами, взгляд ее смягчился.

— Так ты недавно вернулся из Витебска. Это интересно. Говорят, там много Шагала. Это так? — спросила она.

— Кто шагала? — не понял я вопроса.

— О! — многозначительно сказала она и подняла палец в подтверждение сделанного только что открытия.



Я сообразил, что сказал глупость, но не мог понять, в чем она заключалась.

— Ты действительно не знаешь, кто такой Шагал? — переспросила Тая Григорьевна.

— А что, должен?

— Он еще спрашивает! Это все плоды нынешнего просвещения, — возмутилась она, но быстро успокоилась и спросила: — Так поведай, над чем ты сейчас работаешь?

Я ответил, что у меня есть замысел пьесы.

— Ну, расскажи, про что пьеса, — заинтересовалась она.

Я долго излагал сюжет, а когда закончил, Тая Григорьевна строго спросила:

— Идея-то пьесы какая?

Я стал что-то объяснять, но она перебила меня:

— Очень вычурно. В чем задача-то твоей пьесы?

— Рассказать про людей, которых знаю.

— Предположим, рассказал. Но тогда вопрос по Станиславскому: сверхзадача у нее в чем?

Я понял, что сейчас получу жирное два. Так и оказалось.

— Драматургия — сложнейший род литературы, не зря хороших драматургов мало. Ты для этой работы не готов, — заключила Тая Григорьевна. — Попробуй написать несколько коротких рассказов.

Я понял, что пора уходить, но она еще заставила меня выпить чашку чая с печеньем. Сервиз был тот же, что и пять лет назад, а печенье другое, но тоже очень вкусное.

Спустя месяц после того визита я у себя дома неожиданно нашел в старой этажерке фронтовые письма погибшего отца, о существовании которых мама никогда не говорила: ей тяжело было вспоминать войну. Не спросив ее разрешения, я их прочитал и был потрясен описанием фронтовой жизни и тем, что отец, ежедневно бывая в бою, думал только о нас с мамой. Немного поразмыслив, я слово в слово переписал отцовские письма, снабдил комментариями и то, что получилось, решил отослать в журнал «Новый мир» Твардовского, напечататься в котором считалось высокой честью. Но прежде мне захотелось узнать мнение Таи Григорьевны, хотя и без нее все было ясно. «Ну что она мне скажет? Разве что похвалит. А зачем мне ее похвала? Только время потеряю», — рассуждал я по дороге к ней, но все-таки до ее дома дошел.

Тая Григорьевна приняла меня благосклонно, но, увидев три школьных тетрадки, исписанные моим полудетским почерком, удивилась:

— Что это?

— Рассказ.

— Я читаю рукописи только в печатном виде, — нахмурилась она.

— А давайте я его вам прочитаю, — предложил я и, хотя был уверен, что рассказ замечательный, скромно добавил: — Еще неизвестно, стоит ли тратить деньги, чтобы его печатать.

— Учись сам печатать на машинке, — резонно заметила Тая Григорьевна, но прослушать рассказ согласилась.

Прослушивание происходило так. Я монотонно читал (иначе не умел), а Тая Григорьевна периодически что-то записывала на листке бумаги. Когда она бралась за ручку, я останавливался, но она голосом, не обещавшим ничего хорошего, требовала:

— Читай, читай дальше. Я все слышу.

Записей в ее листке становилось все больше, и я мысленно обращался к ней: «Хватит писать, писательница!» Наконец рассказ дочитан, и наступила пауза.

— Вам понравилось? — робко спросил я, когда пауза стала уж слишком длинной.

— Да, — с чувством сказала Тая Григорьевна, и я было возликовал, но зря. Таю Григорьевну тронула искренность человека из окопов, она помнила, что такое фронт. С моими комментариями к письмам дело оказалось сложней.

— Послушай, что ты понаписал. «Ему пришла фантазия прибить оторвавшуюся половицу, и в поисках молотка он случайно открыл дверцу маминного шкафчика, где лежали старые письма», — процитировала меня Тая Григорьевна. — Если тебе, чтобы приколотить эту ерунду, нужна фантазия — поздравляю, но нельзя же так коряво писать. И потом, ты слишком долго подбираешься к цели. Не нужны ни половица, ни молоток. Достаточно, что твой герой случайно открыл шкафчик и увидел старые письма. Кстати, то, что они там лежали, лишнее. Ясно, что они не сидели и не стояли.

Тая Григорьевна перечислила практически все стилистические промахи рассказа, после чего раскритиковала финал:

— Ты пишешь в конце, что твой герой шел по улице, вслушиваясь в мирный шум города, и этот шум был для него лучше любого траурного салюта. Типичнейший штамп. Придумай другой финал.

Я воспринял критику Таи Григорьевны как разгром, но в конце неожиданно услышал:

— Думаю, если ты все исправишь, можно было бы предложить твой рассказ к 23 февраля в какое-нибудь издание. Надо только подумать в какое.

Я поблагодарил и собрался домой.

— А чай? Без чая я тебя не отпущу, — остановила меня Тая Григорьевна. Тут же появились сервиз и печенье, но вкус его на этот раз я не разобрал. Был слишком взволнован.

Как я теперь понимаю, довести рассказ до кондиции было несложно, но я этого не сделал, а появился у Таи Григорьевны через месяц с рассказом о художнике-модернисте, противостоявшем соцреализму. А еще через полтора месяца принес рассказ с шикарным названием «Приключения гипнотизера». Тая Григорьевна была недовольна, что я опять явился с рассказом, написанным от руки, но все же, как обычно, положила перед собой на стол несколько листов писчей бумаги и приготовилась слушать. Во время моего чтения она начала было что-то писать на одном из листков, но вскоре отложила ручку, а когда я закончил чтение, объявила:

— Все-таки ты у нас литературный мальчик.

Это был нелестный диагноз. Так называли молодых авторов, которые в своих опусах увлекались красотами и чересчур отрывались от земли.

— Смотри, что ты наделал, — продолжила она. — В прошлом рассказе превратил своего антигероя в козла, здесь заставил гипнотизера мяукать и лаять вместо своих клиентов.

— Ну и что? Я разговаривал с крупным психиатром. Он подтвердил, что такое возможно в исключительных обстоятельствах, — возразил я.

— Да, в исключительных обстоятельствах все возможно. Это и без психиатра известно. Другой разговор, поверит ли тебе читатель? Я, например, не верю, как Станиславский. Кстати, ты хоть одного живого гипнотизера видел или только в книжках про них читал?

— Видел. У меня недавно попутчик в поезде оказался гипнотизером. Мы с ним целую ночь ехали вместе от Ленинграда до Москвы.

— Да ты наверняка всю эту ночь проспал, и он тоже. Чем он успел тебя поразить за полчаса общения? Ну, за час.

— Поразил. Манерой поведения поразил. Да я это описал.

— Знаешь, в чем твоя беда? — спросила Тая Григорьевна и сама ответила: — Тебя так и тянет к красивенькому. В прошлом рассказе главный герой — художник, предмет его мечтаний — пианистка. И разговоры у них все больше о живописи, о музыке. Теперь вот гипнотизер. В общем, так. Возможно, твой талант кого-то может заинтересовать, но не меня. Мне твои выдумки неинтересны. Ты же работал на заводе, ездишь в командировки, и, значит, материала у тебя полным-полно, а ты пишешь о худож-

нике и гипнотизере, смутно представляя их деятельность. Абсолютно дилетантский подход, а с дилетантами я не работаю, — заключила Тая Григорьевна, и вид у нее при этом был достаточно грозный.

— Вы прогоняете меня? — спросил я испуганно.

— С чего ты взял? Нет, конечно же, не прогоняю. Напиши новый рассказ и приходи. Только прошу тебя: не пиши про цирк, балет, не знаю, что еще такое придет тебе в голову. Помнишь, ты рассказывал мне про женщину, бывшую морскую волчицу, которая в немецком концлагере сидела, а после войны оказалась на заводе, куда тебя распределили после института? Ты еще ее поначалу побаивался. У нее имя было какое-то славянофильское.

— Евдокия Филипповна? — догадался я

— Точно, — обрадовалась Тая Григорьевна. — Про нее и напиши.

На этот раз я послушался Таю Григорьевну, и через полтора месяца у меня появился рассказ под названием «Филимоновна». Начал я его писать неохотно. Первые месяцы в заводском цеху дались мне тяжело, и вспоминать о них не хотелось. Но я понимал: или пишу рассказ, который понравится Тае Григорьевне, или она лишит меня своего общества.

— Получилось, — объявила она, когда я прочитал ей свою «Филимоновну».

Я признался, что по дороге думал: «Все! Покажу этот рассказ, и конец моей литературной карьеры».

— Лукавишь, — улынулась Тая Григорьевна. — Ты не мог не чувствовать, что на этот раз все удалось. Авторы всегда такое чувствуют. Кое-что, разумеется, придется подправить.

Она перечислила замечания к рассказу и заключила:

— Все. Работай над ошибками.

Воодушевленный похвалой, я завел речь о публикации рассказа и неожиданно огреб по полной.

— Ты хочешь, чтобы я отнесла твой рассказ в альманах «Молодой Ленинград»?

— Хотя бы, — скромно ответил я и подумал, что лучше бы в «Новый мир» или «Юность». А «Молодой Ленинград» для меня мелковат.

— Но у тебя же ничего нет, — возмутилась Тая Григорьевна. — Напиши еще десять рассказов, чтобы было из чего выбрать. Когда ко мне впервые пришел Гранин, у него уже было двадцать рассказов и вот такой толстый «Домбровский». — Она с помощью большого и указательного пальцев показала, какой толстой была первая повесть Гранина. — А что у тебя? Рассказ «Отцовские письма»? Что ты там сделал как прозаик? Переписал письма отца? И все? Рассказ о художнике сырой и не ко времени. О твоём гипнотизере и говорить не хочу. В общем, напиши еще двадцать рассказов. А этот положи в ящик стола и закрой на ключик до времени.

— Вы же только что говорили — десять рассказов! — возмутился я.

— Тебе послышалось. Двадцать рассказов, и ни на один меньше, — заключила она.

Бывая у Таи Григорьевны, я стал свидетелем многих забавных эпизодов.

У нее был очень низкий голос, и однажды при мне Тая Григорьевна сказала по телефону какой-то своей знакомой:

— Здравствуйте, Клара Михайловна. Почему вы мне не перезвонили? Как, разве вам не передавали, что звонил мужчина? Передавали? Тогда вы должны были догадаться, что раз мужчина, то это я.

Как-то осенним вечером я неожиданно услышал по телефону ее бас. На этот раз Тае Григорьевне было не до шуток.

— Ты не знаешь, куда надо звонить, чтобы убрал это наводнение? Нет? Жаль. Ко мне сейчас должны прийти люди, а Карповка вышла из берегов, и набережную

залило так, что не пройти. Должен же кто-то дать команду, чтобы кончилось это безобразие.

Я ответил, что, по моему разумению, такую команду может дать только Господь Бог. Но мой ответ ей не понравился.

— Ты недостаточно компетентен в этом вопросе. Ладно, позвоню кому-нибудь другому.

Тая Григорьевна верила в действенность телефонного звонка, но при одном условии — он должен быть произведен грамотно.

— У меня есть знакомая балерина, бывшая, конечно, — говорила она мне. — Когда у нее течет кран, она объявляет: «Сейчас я позвоню одному любовнику», после чего набирает номер и мурлычет: «Але! Это водопроводчик? У меня кран течет. Сделайте что-нибудь ради Бога». Потом заявляет: «Теперь я позвоню другому любовнику» — и снова мурлычет в трубку: «Але! Это электрик? Спасите! У меня розетка перегорела». И никто к ней не приходит. А чтобы пришли, нужно спросить фамилию человека. Тогда он почувствует ответственность. Запомни это простое правило на всю жизнь.

Однажды она попросила меня починить выключатель в уборной. Я стал отказываться, объяснил, что у меня руки — крюки, я в жизни ничего не починил, все только ломал.

— Ты же инженер, — удивилась она.

— Инженер, — согласился я, — но не по этой части. Я окончил химический вуз, а там не учат чинить выключатели.

— Инженер должен все уметь, — объяснила мне Тая Григорьевна.

Она искренне не понимала, как человек с высшим техническим образованием не может исправить какую-то ерунду. Получалось — я просто не хочу ей помочь в трудную минуту, и это было с моей стороны черной неблагодарностью. В конце концов, проконсультировавшись с коллегами по телефону, я принялся чинить выключатель. Дело это оказалось чрезвычайно сложным. Я что-то разъединял, потом соединял и замыкал скотчем, а выключатель все равно не работал. Я начинал сначала, и так продолжалось часа два. За это время Тая Григорьевне перезвонил весь Союз писателей.

— Нет, я сейчас не могу разговаривать. Я занята, у меня чинят выключатель, — отвечала она, после чего начинала причитать своим басом:

— Боже мой, он ничего не умеет. Лева Гаврилов, Витя Конецкий, другие писатели сколько раз приходили, все умеют держать в руках отвертку, а тут чистый гуманитарий. Знала бы, никогда не попросила бы.

Наконец после моего случайного неловкого движения выключатель вдруг заработал.

— Сделал? — удивилась Тая Григорьевна. — А я уже потеряла надежду.

Через пару месяцев я поинтересовался у Таи Григорьевны, в порядке ли тот несчастный выключатель.

— Если ты сделал человеку что-то хорошее, никогда не напоминай ему об этом, так как этим ставишь его в неловкое положение, — сказала она менторским тоном и вдруг заулыбалась:

— Месяц назад этот несчастный выключатель снова сломался, но на этот раз я вызвала профессионала. Он осмотрел выключатель и спросил: «Какой халтурщик его чинил?»

У нее была теория, что если у человека есть один талант, то непременно должен присутствовать и другой.

— Ты хорошо рисуешь? — спросила она меня как будто ни с того ни с сего.

Я удивился вопросу и ответил, что совсем не рисую, даже черчу еле-еле. Меня из-за проблем с черчением на первом курсе чуть из института не выгнали.

— Плохо, — заявила Тая Григорьевна.

— Плохо, что хотели выгнать?

— Плохо, что не рисуешь. Ты видел рисунки Маяковского? Когда он набросал портрет американского художника Хуго Геллерта, тот подписал под ним: «Ей-богу, Вы не только великий поэт, но и художник». Пушкин был отличный рисовальщик, а Лермонтов даже маслом писал. Потому что талант — это всегда все. Грибоедов был прекрасным музыкантом. Станиславский до того, как стать режиссером, прославился как изобретатель. А ты чем таким можешь похвастать?

Я ответил, что ничем.

— Вот видишь, — укоризненно посмотрела она на меня. — Это кое о чем говорит.

— О чем? — спросил я

— О том, что большого таланта у тебя нет, — поставила она мне печальный диагноз. — Если бы у тебя был большой талант, он не позволил бы тебе каждый день ходить в должность.

— Значит, я не смогу участвовать в литературной жизни? — испугался я.

— Не очень активно, но сможешь. Не сомневаюсь, — усмехнулась Тая Григорьевна.

Обычно Тая Григорьевна принимала друзей и знакомых по одному. Когда я звонил, что хочу прийти, она говорила:

— Я могу принять тебя, скажем, в среду, но только с восемнадцати до двадцати часов. Устраивает? Тогда записываю...

Я подъезжал к назначенному времени, а когда оно истекало, Тая Григорьевна начинала нервничать:

— Тебе пора домой, а мне надо отдохнуть перед приходом следующего визитера.

Но однажды железное правило было нарушено. Я сидел у Таи Григорьевны с новым рассказом, и обсуждение подходило к концу, как вдруг раздался телефонный звонок.

— Хочешь зайти? Ну, давай, только быстро, — сказала кому-то Тая Григорьевна, после чего, хитро улыбнувшись, предупредила меня: — Сейчас придет очень симпатичная девушка. Надо же, чтобы среди твоих знакомых была девушка из хорошей семьи.

— А зачем? — смутился я.

— Как зачем? — удивилась вопросу Тая Григорьевна. — Тебе сейчас сколько? Двадцать восемь? Ах, двадцать семь. Но все равно много. Пора заканчивать писать. Надо думать об устройстве личной жизни. А то можно и одному остаться.

Меня задела фраза «пора заканчивать писать» — зачем тогда поощрять мои литературные экзерсисы? Но я задал другой вопрос, причем очень наивный:

— Разве кто-нибудь когда-нибудь оставался один?

— Сколько угодно. Гриша, например.

Гриша, тот самый доктор, с которым она познакомила меня на творческом вечере Льва Кассиля, был классным специалистом — эндокринологом, нравился женщинам, но в свои тридцать шесть лет жениться не собирался, и Тая Григорьевна оказалась провидицей. Грише сейчас за восемьдесят, а он все еще не женат.

В комнате появилась гостя, девушка лет двадцати пяти, высокая шатенка, действительно, очень симпатичная. Тая Григорьевна представила нас друг другу и вышла на кухню.

— Вы писатель? — спросила девушка, когда мы остались одни.

— Нет. Писатель — это тот, кто пишет и печатается, а я только пишу.

— Ничего, вас непременно будут печатать, раз на вас обратила внимание Тая Григорьевна, — улыбнулась она, и мы оба замолчали — говорить было не о чем.

В комнату вернулась Тая Григорьевна и мгновенно оценила ситуацию.

— Не получается разговор? Нужен дирижер? — спросила она лукаво.

Но и при Тае Григорьевне особого разговора у нас с девушкой не получилось, а вскоре она заспешила: ей надо было успеть этим вечером в филармонию.

— Замечательная девушка, — сказала Тая Григорьевна. — Она была замужем. Ее муж всем нравился, а она с ним рассталась, и никто не знает почему. А тебе она понравилась?

— Очень, — искренне ответил я.

— Может, тебе тоже стоит пойти в филармонию?

— Может быть, — согласился я.

— Тогда я тебя не задерживаю, — заключила Тая Григорьевна.

Но в филармонию в тот вечер я не пошел, побоялся выглядеть навязчивым и больше эту девушку никогда не видел. Тая Григорьевна при мне о ней ни разу не вспомнила, и это означало, что я девушку не заинтересовал. Наверно, потому, что я встретил ее у Таи Григорьевны, она осталась для меня одним из тех женских силуэтов, которые мелькнули перед моими глазами и запомнились навсегда.

А с визитерами Таи Григорьевны все же я иногда сталкивался в прихожей. Однажды столкнулся с известным в то время поэтом Михаилом Дудиным и удивился: «Надо же, живой Дудин. А я думал, что он только в телевизоре мелькает!» В той же прихожей я встретился с Валентиной Левидовой, автором пьесы «Трехминутный разговор», имевшей в постановке Акимова сумасшедший успех. Тая Григорьевна представила меня гостю, когда я уже надевал пальто.

— Валя, — сказала Левидова и, улыбаясь, протянула мне руку. Она была немного старше меня, но показалась очень симпатичной. Я обрадовался неожиданному знакомству. Еще бы! Сам мечтал написать пьесу и был не прочь поговорить с молодым драматургом, к тому же интересной женщиной, но не тут-то было.

— Тебе пора, — тихо сказала Тая Григорьевна.

Я ушел из ее квартиры разочарованный и больше Левидову никогда не видел.

Зато вскоре познакомился с художницей Гертой Михайловной Неменовой, про которую Тая Григорьевна говорила, что та единственная работающая в России ученица Фернана Леже и знаменита своими портретами артистов и писателей. Одна ее работа, карандашный портрет Гоголя, явно тронувшего рассудком, висела в комнате Таи Григорьевны.

— Это Гоголь в период сожжения «Мертвых душ», — объяснила мне Тая Григорьевна. — Такого Гоголя ты вряд ли еще где увидишь.

Герта Михайловна оказалась худенькой женщиной с заостренным лицом, немолодой, но энергичной. Когда я зашел в комнату Таи Григорьевны, она как раз собиралась уходить.

— Завтра в Лавке писателей открывается выставка-продажа моих работ, — сообщила Герта Михайловна, обращаясь к Тае Григорьевне и почему-то ко мне, незнакомому ей человеку.

— Будем, — пообещала Тая Григорьевна

Когда Герта Михайловна ушла, Тая Григорьевна, объявила:

— Надо, чтобы устроители увидели, как много народа интересуется творчеством Герты Михайловны. У меня есть план.

По плану Таи Григорьевны мобилизованные ею друзья и знакомые должны были явиться в Лавку писателей и изобразить этот самый интересующийся народ. При этом участникам акции было велено ни в коем случае к Герте Михайловне не приближаться, а, наоборот, всем видом показывать, что они ее лично не знают, но слы-

шали, какой она великий художник. В назначенный час я подошел к Лавке писателей, и у ее дверей уже собралась кучка незнакомых мне людей во главе с Таей Григорьевной. По ее сигналу мы вошли внутрь помещения и рассредоточились, изображая заинтересованных зрителей. На всю жизнь я запомнил, с каким жуликоватым видом ходила по выставке Тая Григорьевна. Она была удивительно похожа на главаря мафии из какого-нибудь итальянского фильма эпохи неореализма, который привел своих подручных «на дело».

Постепенно я стал замечать, что Тае Григорьевне нравилось удивлять меня своими знаменитыми друзьями. Однажды она попросила съездить к какой-то женщине за лекарством.

— А когда вернешься, я тебе скажу, к кому ты ездил, — загадочно добавила она.

Я отправился по указанному Таей Григорьевной адресу. Дверь открыла немолодая, но яркая брюнетка, лицо которой мне вроде было знакомо — не то по телевизору видел, не то в кино. Она пригласила зайти, но я отказался, взял из ее рук лекарство и всю обратную дорогу гадал, кто эта женщина: актриса, писательница, может быть, та самая балерина, которая называет электрика и сантехника любовниками? Хотя для балерины у нее фигура не та.

— Сегодня ты был у чемпионки мира по шахматам Людмилы Владимировны Руденко, — сообщила мне Тая Григорьевна.

Я сразу вспомнил это имя. Оно гремело, когда я был школьником. Людмила Владимировна Руденко была второй в истории и первой советской чемпионкой мира по шахматам среди женщин, и длилось ее чемпионство с 1950-го по 1953 год. Тогда она часто появлялась в киножурналах, ее портреты печатались в газетах, а потом она исчезла с экранов и полос газет — неудивительно, что я ее не узнал. Но что связывало ее с Таей Григорьевной, ведь они были люди таких разных профессий? Через много лет, прочитав биографию Людмилы Владимировны, я узнал, что, как и Тая Григорьевна, она приехала в Ленинград из Одессы в двадцатые годы, а все одесситы в чужом краю — братья и сестры.

Спустя неделю Тая Григорьевна попросила меня, наоборот, передать лекарство другой своей знакомой.

— Дверь откроет женщина, — инструктировала меня перед поездкой Тая Григорьевна. — Когда ты скажешь, что от меня, она будет настойчиво приглашать тебя зайти, но ты не заходи — отдай лекарство (оно в этой упаковке) и уходи. А когда вернешься, я скажу тебе, у кого ты побывал.

Она протянула мне листок, на котором был написан крупными буквами адрес, и упаковку с лекарством. Немного заинтригованный, я прибыл по указанному адресу, и там все произошло точно по схеме Таи Григорьевны. Мне открыла дверь высокая пожилая дама и, услышав, от кого я, стала уговаривать зайти, но я твердо придерживался полученной инструкции: отдал лекарство и уехал домой. Тая Григорьевна по телефону поблагодарила меня за проделанную работу, а потом раскрыла секрет:

— Ты отвез лекарство Евдокии Николаевне Глебовой-Филоновой, родной сестре великого художника Павла Николаевича Филонова. Все его работы находятся у нее дома. Она бы показала их тебе, но лишний раз беспокоить ее я не хотела. Не расстраивайся. Когда-нибудь мы соберемся все вместе и навестим Евдокию Николаевну. Приготовься заранее. Тебя ждет потрясение.

Кого она имела в виду, говоря соберемся все вместе, я тогда не знал.

К Евдокии Николаевне я так и не попал, а больше работы Филонова в то время увидеть было негде. Не вписавшийся в «правильное», официальное искусство Павел Филонов будто не существовал, и многие годы о его творчестве говорили лишь специалисты. Только в 1988 году, через сорок семь лет после смерти художника, в Русском

музее состоялась первая выставка его работ, переданных туда в дар Евдокией Николаевной, и Тая Григорьевна оказалась права: знакомство с его работами действительно оказалось потрясением. И не для меня одного.

Как-то летом Тая Григорьевна попросила сопроводить ее на спектакль «Обыкновенная история» театра «Современник». В то время многие авторы обожали противопоставлять романтическому герою персонажа, как тогда говорили, с червоточинкой. Обычно такой персонаж в конце произведения признавал свою неправоту, как, например, ироничный герой Смоктуновского, восклицавший не вполне искренне в финале кинофильма Ромма «Девять дней одного года»: «Если бы человечество состояло из Гусевых!», то есть из романтиков, подобных герою Баталова. Конфликт циничных прагматиков и романтиков долго и успешно эксплуатировался на сцене и на экране, пока театр «Современник» не поставил в их дискуссии точку своим спектаклем «Обыкновенная история». Инсценировку романа Гончарова для театра выполнил замечательный Виктор Сергеевич Розов. В том спектакле дядюшка Адуев, блистательно сыгранный Михаилом Козаковым, сумел убедить юного племянника (молодого Олега Табакова) в полном отсутствии романтики в жизни, а когда понял, что был не совсем прав, исправить ничего уже не мог. После этого спектакля, обнаруживая в каком-нибудь произведении дискуссию прагматиков и романтиков, я всегда думал: «Наверно, автор не видел спектакль театра „Современник“ и, скорее всего, не читал романа Гончарова — там на эту тему все сказано».

В антракте спектакля мы с Таей Григорьевной вышли в фойе и там встретили человека, лицо которого показалось мне знакомым.

— Познакомься, это Даниил Александрович Гранин, — сказала Тая Григорьевна.

«Надо же, — удивился я, — живой Гранин». Это имя я знал еще со школьных времен, когда прочитал его повесть «Вариант второй», романы «Искатели» и «После свадьбы». А роман «Иду на грозу» вместе со мной, по-моему, у нас в стране прочли все, кто умел читать, и для меня имена Толстой и Гранин звучали совершенно одинаково. Я хотел было спросить его о чем-то для меня важном, касавшемся литературы того времени, но не успел.

— Извини, Игорь, но у нас Даниилом Александровичем сейчас должен состояться небольшой мужской разговор, а потом мы продолжим наш женский, — услышал я бас Таи Григорьевны, и они отошли куда-то в сторону.

После спектакля я спросил у Таи Григорьевны, какой такой мужской разговор был у нее с Граниним, и ответ оказался прозаическим: она увела его на улицу, чтобы он втайне от жены, Риммы Михайловны, мог выкурить сигарету.

Тая Григорьевна и Даниил Александрович были давними друзьями, но тогда я этого еще не знал. О знакомых писателях Тая Григорьевна говорила редко, зато охотно рассказывала о своих молодых друзьях. А чаще всего я слышал рассказы о сказочной девушке Марине, студентке биофака университета, отличнице и умнице. Однажды Тая Григорьевна показала мне ее портрет, и я узнал в ней одну из якобы поклонниц Гертты Михайловны, призванной, подобно мне, изображать интересующийся ее творчеством народ. В другой раз я услышал, как Тая Григорьевна говорила по телефону:

— Признайся, Марина, ты не ожидала, что папа сделает тебе такой замечательный подарок. Нет, правда, подарок замечательный.

Постепенно я понял, что речь идет о книге Даниила Александровича Гранина «Месяц вверх ногами», открывавшейся посвящением: «Моей дочери Марине».

«Так вот какой Мариной восхищалась Тая Григорьевна», — догадался я.

Марина действительно оказалась доброй и внимательной к людям девушкой. Ко дню рождения Таи Григорьевны она выпустила стенную газету под названием «Барометр». Будучи крошкой, Марина считала, что название барометр происходит от



слова «бормотать», и называла этот прибор бармометром, а став школьницей, стала выпускать домашнюю стенную газету с таким названием. В номере, посвященном Тае Григорьевне, среди множества приколов был такой: «В последнем интервью газете „Пари-матч“ Бриджит Бардо заявила: „Я завидую Тае, ее любят больше меня!“»

В тот день рождения Тая Григорьевна получила множество телеграмм, и среди них такую: «Живите двести лет — Вы так нужны людям!» Увы. Жить ей оставалось совсем немного.

### И корабля тревожен крен...

В последний год нашего общения с Таей Григорьевной я был удостоен высокой чести — она показала мне первую главу своей будущей книги воспоминаний «Так начинают жить стихом...», имевшую диковинное название: «Пеон четвертый» и «Мебос». Так назывались одесские литературные кафе, где в трудные и голодные 1920—1921 годы собирались молодые поэты, среди которых были друзья Таи Григорьевны: Багрицкий, Ильф и Олеша. «Не знаю, кому первому пришла мысль открыть вечернее кафе поэтов для широкой публики, — писала Тая Григорьевна. — Возможно, это был предприимчивый, молодой человек, о котором ходили слухи, что он внебрачный сын турецкого подданного (много позже мы узнали его черты в образе Остапа Бендера), но тогда он только начинал бурную околотитулярную деятельность». Название «Пеон четвертый» привлекало, но оно нуждалось в разъяснении, и у входа поместили плакат с четверостишием из сонета Иннокентия Анненского: «На службу лести иль мечты, равно готовые консорты, назвать вас вы, назвать вас ты, Пэон второй — Пэон четвертый?» Позже тот же энергичный «околотитулярный» молодой человек организовал в полуподвальчике бывшего винного заведения новое кафе. Вначале оно называлось «Хлам» (художники, литераторы, артисты, музыканты), но вскоре было переименовано в «Мебос», что означало «меблированный остров». Об уровне мастерства поэтов, собиравшихся в этих кафе, можно судить по стихам поэта Эзры Александрова, приведенных Таей Григорьевной в этой главе:

Волосы рыжие — цвет Эльдorado,  
Нам Калифорнии вовсе не надо,  
К черту все золото Южной Америки,  
Стынут от холода русские скверики,  
В небо высокое бьет офицер,  
В небо высокое бьет без потерь,  
Кружится даль, рушится льдина,  
Ветер — миндаль, двор — мандолина.

По ее словам, стихи эти очень нравились Багрицкому, и он часто их цитировал, а новым посетителям говорил с сожалением и восхищением: «Эх, вы не застали здесь Эзру Александрова...»

— Классное стихотворение, — согласился я с ней и Багрицким. — Но куда делся автор? Его имя я слышу впервые.

— Немудрено. Эзра Александров с родителями уехал в Палестину еще в двадцать втором году и там стал писать стихи на иврите. Ты знаешь иврит?

— Нет.

— И я не знаю. Жаль, что из русского стихотворчества он ушел навсегда, — вздохнула Тая Григорьевна и неожиданно вытащила из рукописи нотный листок.

— Ты умеешь читать ноты?

— Нет, — засмутился я.

— Жаль. Это ноты «Песенки о милой Джейн», сочиненной Багрицким, которую в конце каждого вечера пели все посетители «Мебоса», а вот ее текст:

Джейн говорила: не езжай,  
 Мой милый, в путь опасный,  
 Пройдет апрель, наступит май,  
 И в щебетанье птичьих стай  
 Воскреснет снова мир прекрасный.  
 Но судно быстрое не ждет:  
 Оно расправит крылья  
 И вновь направит свой полет  
 В кипучих волн водоворот,  
 Овеянный соленой пылью.  
 А я грущу о милой Джейн,  
 О, этот взор далекий,  
 Томит морей холодный плен,  
 И корабля тревожен крен,  
 И пена плещет в борт высокий.  
 Прошел апрель, настал уж май,  
 Я сплю на дне песчаном,  
 Прощай, любимая, прощай  
 И только чаще вспоминай  
 Мой взгляд, встающий за туманом.

— Представляю, какие протесты последуют от вдовы Багрицкого, когда будут напечатаны этот текст и ноты. Она давно присвоила себе монопольное право распоряжаться строчками Эдди, в чьих руках они бы ни оказались, — с неожиданной горечью сказала Тая Григорьевна.

«Как странно. Две очень пожилые женщины готовы встать на тропу войны из-за песенки, которая чудом сохранилась, а не пропала в мутные времена, — подумал я. — Впрочем, не менее странно, что посетители веселого кафе каждый вечер завершали песенкой, где герой посылает прощальный привет любимой со дна океана».

Тем временем Тая Григорьевна достала несколько листов глянцевого бумаги, испещренных крупным разборчивым почерком.

— Это фотокопии писем Ильфа. Мне их сделал один умелец. Правда хорошо получилось? — спросила она с гордостью, будто сама сделала эти снимки.

— Да, все можно разобрать, — согласился я.

— Эти письма войдут во вторую главу книги, которая будет называться «Три письма Ильфа». Но покажу ее тебе не сегодня. Мне надо отдохнуть перед следующей встречей.

Когда я пришел к Тае Григорьевне в следующий раз, застал ее расстроенной. Оказалось, что она захотела опубликовать две главы из своей будущей книги в журнале «Юность», где главным редактором был знаменитый Борис Николаевич Полевой, но тот ей отказал.

— Я получила письмо от Бориса Николаевича, — рассказала мне Тая Григорьевна. — Он написал, что не может мне объяснить причину, по которой этот, как он выразился, замечательный материал не может быть опубликован в его журнале. Жаль! Ведь журнал «Юность» — это два миллиона подписчиков.

Это был секрет Полишинеля — Полевой боялся упреков околотературных чиновников в восхвалении писателей южной школы, что тогда считалось грехом. Все же

нашлось издание, решившееся печатать воспоминания Таи Григорьевны. Им стал популярный у интеллигенции историко-биографический альманах «Прометей», имевший тираж сто тысяч экземпляров — ничтожный по сравнению с «Юностью» и громадный в сравнении с нынешними тиражами художественных журналов. Я напомнил Тае Григорьевне, что она обещала показать мне главу с письмами Ильфа.

— Прочтешь в «Прометее», — отмахнулась она, — это будет совсем скоро, в мае. А пока взгляни на эту книгу. Кафка! Тебе что-то говорит это имя?

— Да, — с гордостью ответил я. — Читал в «Иностранной литературе» два его рассказа: «Превращение» и «В исправительной колонии».

— Теперь и «Процесс» прочтешь. Если повезет. Пока у меня на него очередь. — Она показала мне знаменитый «черный том», который тогда многие мечтали заполучить. — Говорят, одна высокопоставленная литературная дама изрекла: «Пусть интеллигенты читают и сами убедятся, что их кумир Кафка был просто сумасшедший». Но издали его таким маленьким тиражом, что, когда продавали в Союзе писателей, прозаикам еще хватало, а поэтам уже не досталось.

Тая Григорьевна была явно довольна, что Кафка неведомыми мне путями все-таки попал к ней, не поэту и не прозаику.

Через день после этого разговора я уехал на месяц в командировку, а когда вернулся, оказалось, что Тая Григорьевна больна. Я тут же поехал к ней и застал в жутком состоянии: лицо изменилось, говорила она с трудом. В комнате были Марина, дочь Даниила Александровича Гранина, и Таня — медсестра, которая в свободное время забегала к Тае Григорьевне. Меня попросили сходить за минеральной водой. Я тут же сбегал в магазин, передал в прихожей воду Марине и собрался уходить, но Марина остановила меня:

— Тая Григорьевна просит тебя зайти.

Я зашел в комнату. Тая Григорьевна сидела на кровати в халате. Видно было, что даже сидеть ей тяжело, но, не попрощавшись, отпустить человека она не могла. Не то воспитание.

— До свидания, Игорь, — сказала она слабым голосом.

На следующий день мне сообщили, что Тая Григорьевна умерла. Кто-то рассказывал, что последние ее слова были: «Как же так, мне еще книгу писать надо!» Проводить ее пришло много людей, и среди них я разглядел лица почти всех, кого благодаря Тае Григорьевне видел хоть раз. Люди молчали или тихонько переговаривались, и только одна дама, нервно покуривая папиросу, прогуливалась со своим спутником и громко говорила ему: «Шкловский сказал это, Шкловский сказал то...» Ко мне подошла Людмила Владимировна Руденко, громко заплакала и сказала, что я непременно должен ее навестить. Тут как раз открылись двери морга. Следом за кем-то я подошел к Тае Григорьевне и положил рядом с ней букетик мимоз. С тех пор никому и никогда не дарил я эти славные весенние цветы, они напоминали мне о дне прощания с Таей Григорьевной. Потом было кладбище и скромные поминки в ее комнате. Там собрались Даниил Александрович Гранин с женой Риммой Михайловной и дочерью Мариной; Сергей Александрович Бондарин; ближайшая подруга Таи Григорьевны Лина Осиповна Короткова с сыновьями Аликом, Димой и их женами; доктор Гриша, другие друзья Таи Григорьевны, о которых я ничего не знал. Все по очереди вставали из-за стола и говорили о Тае Григорьевне что-то хорошее. Когда очередь дошла до меня, я вспомнил, что, рассказывая о своих друзьях, Тая Григорьевна, иногда добавляла: «Настанет день, и я вас всех соберу!» «И день настал», — перебила меня незнакомая дама грубоватым голосом. На этом месте за стеной раздался женский крик: «Игорь, не томи душу!» Это соседка Таи Григорьевны кричала на своего всегда пьяного мужа-прокурора, которого звали Игорь, как и меня. Но я, находясь в состо-

янии, близком к помрачению, вдруг вообразил, будто это Тая Григорьевна называет мое имя, требуя умолкнуть. Более того, я решил, что все здесь сидящие восприняли выкрик соседки как некий мистический знак, и стал с тревогой озираяться вокруг. Напротив меня сидел Даниил Александрович, который, как и все остальные, на крик соседки внимания не обратил. Он смотрел на меня доброжелательно, и я понял: спич можно продолжить. Однако мой испуг до конца не прошел, и, пробормотав нечто невнятное, я сел на свое место. Мне все казалось, что Тая Григорьевна сердится на меня за что-то, и подумал: «Может, потому, что я не оправдал ее надежд?» Подошло время расходиться. Все думали о том, что в этот дом уже не вернуться никогда, и уходили с тяжелым чувством. Хорошо помню, что очень плакала Марина.

### Нежные и удивительные

Через три месяца после смерти Таи Григорьевны, как она и обещала, в мае вышел альманах «Прометей» с двумя главами из недописанной книги ее воспоминаний, о чем мне поведал доктор Гриша. Раздобыв пятый номер «Прометей», я для начала пролистал весь альманах объемом в почти пятьсот полновесных страниц. Открывался он публикацией Вадима Вацура «Записки честного человека», посвященной Карамзину и отношению к нему современников, которые буквально упивались его трудом и, особенно, томом, посвященным жизнеописанию Ивана Грозного. Карамзин заключал этот том словами, современными и сегодня: «Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов; вселять омерзение к злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истинною дееспособностью может в правлении самодержавном выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных!» Потрясенный Рылеев писал: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита!» Далее в альманахе следовало множество публикаций с интригующими названиями, такими, как «Смерть Коперника», «Забывшие воспоминания о Герцене», «Русские на баррикадах Парижа в 1830 году», «Новые известия об Александре Великом», «М. Бакунин или С. Нечаев». Там же присутствовало научно-детективное исследование моего любимого Ираклия Андроникова «Тетрадь Василия Завелейского» о современниках Пушкина: Александре Гарсевановиче Чавчавадзе, Павле Бестужеве и других замечательных персонажах. В разделе «Забывшие страницы» были представлены воспоминания помещика Н. Ф. Андреева о его случайной встрече в тульской ресторации с Гоголем, ехавшим в Москву из Полтавской губернии. В биографиях Гоголя, которые я читал, он предстает мрачным, иногда высокомерным и погруженным в себя человеком. А в воспоминаниях Андреева Гоголь оказался контактным, доброжелательным, скромным и, главное, обаятельным. В альманахе был также раздел «Литературное наследство», который открывался воспоминаниями Евгения Шварца с заголовком «Тетрадь № 1. Начата 19 июля 1928 года», а под ним девять пунктов правил, из них три такие: «Писать ежедневно», «Вычеркивать прозрачно», «Писать можно о чем угодно, что угодно и как угодно». Заканчивался альманах сериями карикатур художника И. Игина на поэта М. Светлова с его стихотворными комментариями, один из которых звучал так:

Твоею кистью я отмечен —  
Спасибо, рыцарь красоты,  
За то, что изувекочечил  
Мои небесные черты.

17/VI — 63 г.

Публикация Таи Григорьевны оказалась в разделе «Дневники. Воспоминания» по соседству с мемуарами Рокоссовского, Штеменко, Малиновского. Фамилия ее была в траурной рамке, а публикацию завершал некролог, подписанный Всеволодом Азаровым, Ираклием Андрониковым, Сергеем Бондариним, Даниилом Граниным, Александром Розеном. Там были такие слова: *«Не часто встречаешь в жизни людей, которые так преданно и так вдохновенно любят и понимают литературу, как любила и понимала ее Тая Григорьевна Лишина. Бывает „абсолютный слух“ у музыкантов. Тая Григорьевна обладала „абсолютным слухом“ по отношению к поэзии, к слову. Общение с ней, вся ее личность — безошибочный вкус, ум, широчайшая культура, высокое благородство, беспредельная скромность в сочетании с редкой властной способностью утверждать в тебе веру в твои собственные возможности — как это было важно для нас, как много. С горечью произносим мы эти слова: „знала“, „была“... Тая Григорьевна не дожидаясь трех месяцев до выхода ее воспоминаний о песенке, звучавшей в первые революционные годы в Одессе, в кругу молодых в ту пору Эдуарда Багрицкого, Ильи Ильфа, Юрия Олеше... Всю жизнь Тая Григорьевна оставалась верной этой далекой поре, этой талантливой молодости, полной романтики и поэтической отваги.»*

Первая глава про «Пеон четвертый» и «Мебос» слово в слово совпадала с текстом, услышанным от Таи Григорьевны, и ничем удивить меня не могла. Зато вторая глава «Три письма Ильфа» поражала качеством текстов совсем молодого Ильфа, адресованных двум подругам, девушкам, всего-навсего пятнадцати лет от роду. По словам Таи Григорьевны, Ильф был человеком таинственным: «Никто не знал, что он пишет — стихи или прозу, но его побаивались, опасались его острого языка, его умной язвительности». Он был старше подруг, только что окончивших среднюю школу и «сначала очень робевших на поэтических собраниях». (Мне, кстати, трудно представить себе Таю Григорьевну, робевшую перед кем-либо.) Тем не менее подруги подружились с Ильфом, и он стал писать им письма. «В них почти не было ничего личного, относящегося к кому-нибудь из нас. Мы удивлялись и считали это своеобразным чудачеством. Много позже стало понятным, что письма выражали естественную потребность Ильфа еще в те ранние годы заняться литературой», — написала Тая Григорьевна. Возможно, она лукавила, и интерес Ильфа к двум юным девушкам объяснялся более естественными причинами. Впрочем, важно другое — все три письма, по сути, были небольшими блестяще структурированными литературными эссе.

Вот текст **первого письма**, в котором Ильф пишет о своем тревожном ожидании зимы. Но как!

Еще Вы, любезная Тая, совершаете своекорыстные переходы в Аркадию, еще Вам, Лиля, может быть, милы жаркие гиперболы лета, и даже я еще предаюсь размышлениям о нравственности и насморке Робеспьера, но в небе уже осень, ветер сбивает звезды, и к зиме оно раздвинется над нами огромной черной лисицей. Еще раз нам предстоит увидеть прощальные солнца осени. Это как пушечный салют кораблей, которых больше не увидишь никогда. А после татарской конницей легкой и яростной во весь опор помчится снег, это плен и невзгоды. Тогда Вы увидите меня иным, в чугуинной походке памятного, с привязанной к лицу улыбкой, в молчании человека, отчаянно расточившего дар разговорной речи. И я думаю о Вас и о том, что Вы такое зимой, о комнате маленькой и совершенной, где Вы живете среди разгромленных книг и где в отваге смелых сердец и в милом извращении приличий Вы реабилитируете одни из пороков и судорожно создаете новые. И я вижу Вас провожающими свои дни в веселом умерщвлении плоти и в гуле пожираемого шоколада. А над домом «тетки» обезумевшим фонтаном взлетают кальсоны девственниц, сорочки честных матерей и фланелевые набрюшники холостяков. Он бьет в Вашу честь, этот фонтан, и на Вас же он опадает золотым и разнообразным дождем. Так

я думаю о Вас в промежутках между кровосмешениями Катюля Мендеса, трагическими любовями Гамсуна и ошибками и тайнами Теодора Амадея Гофмана. Пребываю в нежном Вашем дыхании. Иля, Вам преданный и верный.

«Своекорыстные переходы в Аркадию», упомянутые в письме, — это многочасовые походы юной Таи Григорьевны в пригород Одессы и обратно за овощами. На полдороге домой ее встречал Ильф, забирал тяжелый рюкзак, и они вместе возвращались в город. «У меня дома, — писала Тая Григорьевна, — растопив чугунную печурку пухлыми пачками журнала „Нива“ за 1916 год, мы пекли в горячей золе картошку, обжигая пальцы и губы, ели ее без соли, которая тогда была дороже золота, грызли пахнущую острой свежестью морковку и мечтали о шоколаде». «Обезумевший фонтан над домом тетки» тоже нуждаются в пояснении. «Тетка», родная тетя Таи Григорьевны, переезжала в Москву, и она попросила помочь продать на толкучке свои домашние вещи.

— Вы не справитесь одна. У вас все разворуют, — заявил Ильф. — Надо что-то придумать.

И он придумал. Когда Тая Григорьевна приходила на базар с корзиной, наполненной теткиними бельем, появлялись Багрицкий, Бондарин и Ильф, изображая заинтересованных покупателей. Таким образом, они повышали привлекательность содержимого корзины, то есть создавали условия для продажи барахла тетки по искусственно завышенным ценам. К концу базарного дня с опустошенной корзинкой она возвращалась к тете, и та оставляла ей часть вырученных денег со словами: «Накормишь своих приятелей-голодранцев». Это счастье длилось недолго — «теткин фонтан» через несколько дней иссяк. В письме этом Ильф как бы походя демонстрировал способность к образному мышлению, которой могут позавидовать нынешние литературные пижоны. Все эти «жаркие гиперболы лета», «ветер, сбивающий звезды», «небо, раздвигающееся над головой огромной черной лисицей», «прощальные солнца осени», «Вы увидите меня в чугунной походке памятника, с привязанной к лицу улыбкой» завораживают. Кстати, чугунная походка памятника напомнила мне давний спор в ЛИТО, которым руководил Александр Моисеевич Володин, из-за строчки одного поэта: «Щука разинула пасть до ушей». Одни говорили, что, поскольку у щуки нет ушей, строчка не корректна. Другие доказывали, что очень даже корректна: щука разинула пасть до ушей, которых у нее нет, то есть до неизвестно каких размеров. Нетрудно представить, на чьей стороне в этом споре был бы Ильф.

**Второе письмо** Ильф написал из дома отдыха на Хаджибеевском лимане. Тая Григорьевна предваряла это письмо комментарием, в котором оправдывала Ильфа за допущенную им в письме фривольность. «Может быть, сегодня оно покажется кому-нибудь недостаточно пристойным, тем более что оно адресовано молодым девушкам, — писала она и гордо добавляла: — Но у нас в юности был свой критерий приличного и неприличного. Великолепный язык, которым оно было написано, совсем очищал письмо от кажущихся непристойностей и натуралистического правдоподобия». Тая Григорьевна напрасно оправдывала молодого Ильфа — фривольностью давным-давно никого не удивишь, хотя надо признать: факт, что письмо адресовано двум пятнадцатилетним девушкам, придает ему некоторую пикантность. Похоже, весело жили тогда в Одессе, хотя и не веселей, чем сейчас. При всем этом письмо Ильфа действительно остается маленьким литературным шедевром. Впрочем, судите сами:

Нежные и удивительные! Желание беременной женщины, чувство странное и неукротимое овладело мною, моими внутренностями и помыслами, это желание лизнуть кого-нибудь из тех, что ходят здесь обугленными и просоленными. Но лизать

всех невозможно, лизать же одних, отдавая им предпочтение перед другими, — неудобно. В желании проходит день и лето, обреченное любви, славе и толстым женщинам, которые иступленно хотят у меня стенного прибора для измерения чувств. Я привез с собой свое черное сердце и палладий семейной чистоты и невинности. Глупый и немой садовник, среди разъяренных благочестивыми псалмами монахинь, я принес себя в жертву. Он никогда не поднимется больше, ртутный столбик моего прибора для измерения чувств. Мне остались только поцелуи и мое черное сердце. Что же касается до семейного палладиума чистоты и невинности, то он утерян. Новый поэт, соединив в себе достоинства Гомера и Банделло, в свое время расскажет историю этой пропажи. Это будет забавно и торжественно. Все дело в толстых женщинах, плохо и поспешно воспитанных на ускоренном губвузе, оборудованных трагическим профилем и злоупотребляющих привычками героев. Истинному герою необходимо восхваление своих подвигов народом. Он требует у него криков и кликов, и народ послушно дает их. От меня тоже требовали кликов, по ночам я ревностно кричал, и вот священный признак моей мужественности превращен в оружие домашнего и частого обихода. От этого гибли Империи, и я тоже погиб, как погибали Государства и Нации, — от чрезмерного напряжения сил и крайнего изнурения. Вот почему мне остались только поцелуи, наблюдения за летящими звездами, лиманная помойница и три сестры, джигитующие на моих, увы, уже безвредных коленях. И еще остались сны. Ночь обводит стенами смутных комнат, подкладывает под ноги мягкий асфальт, вывешивает неверную луну, и, когда она в первый раз привела сны, мчалась звездная стая, сердце моталось и билось, как взбунтовавшиеся часы, меня целовали в губы, это была она и ее внимательные глаза. И во сне вспомнил, что ей нравились войны: «Ведь пушки дышали розами, клубами алых и чайных», — вспомнил весеннюю холодную ночь, единственную и последнюю, паровоз, зло кричавший, ее, в любви и слезах, и себя, выходявшего в темноту плакать и жаловаться. Сон кончился в звоне, смятении уходящих поездов и в плеске отплывающих пароходов. А проснулся — и небо пустынно, как бильярд, лишенный шаров, унесенных любителями слоновой кости, а мимо ходят толстые погубительницы моей чести и проходят, сверкая ребрами и сорокалетним стажем невинности, тощие девы, сверху валится солнце, тишина, пространство и птичий помет. Этот день, он несет преувеличенную лень, вкусный табак, любовные стихи Пушкина, дары моему ошеломленному желудку и шумящие и нежные битвы Асеева, где... «от дыханий пушечных бежали по небу розы». Эти пушки и розы соединяют день и сон, и глаза покачнулись, и день идет, как сон. И это надо так, чтоб сучились к свече преданья коридоров.

Это моя жизнь в климате милом и приятном.

В этот город, великолепный и злой, где остались Вы, я эвакуирую себя скоро. Иля, Ваш преданный и верный.

Это сочинение на банальную тему «Как я провел этим летом», по сути, является неким развернутым оксюмороном (сочетанием несочетаемого), где автор письма, поведав о трех сестрах, джигитующих на его «увы, уже безвредных коленях», и прочих безобразиях, не переводя дыхания пересказывает свой романтический сон, в котором неведомая она «в любви и слезах» прислушивается к голосу зло кричавшего паровоза, а он уходит от нее «в темноту плакать и жаловаться». Тая Григорьевна писала, что «в письмах, как и в разговорах, Ильф часто вспоминал свои сны. Не было ясно, снились ли они ему действительно или он их придумывал. Прибегал он к этому приему, когда это касалось его личных переживаний и чувств. Очевидно, так ему, по природе скрытному и застенчивому, было легче спрятать то, что никогда бы не рассказал он прямо и лично от себя и о себе». Полагаю, давно уже не имеет значения, фантазия тот сон из письма или изложение события, которым он хотел таким странным образом поделиться со своими юными адресатами. Сегодня, когда письма пишут редко, все больше эсэмэски или по скайпу, кажется удивительным, что когда-то подобные пись-

ма писали, и поражает способность Ильфа походя создать великолепный текст, не придавая ему никакого значения, иначе бы он использовал его в каком-нибудь сочинении, а этого, насколько мне известно, не случилось.

**Третье письмо** Ильфа написано в 1922 году. Тогда, по словам Таи Григорьевны, в Одессе совсем замерла литературная жизнь. Давно закрылись кафе поэтов «Пеон четвертый» и «Меблированный остров». Негде было печататься, негде было прочесть новые работы, и литераторы поспешно уезжали из Одессы. Ильф, как и остальные, тоже собирался в Москву, но тяжелое материальное положение семьи не сразу позволило ему сделать это. После очередных проводов друзей Тая Григорьевна с Ильфом бродили по вечерней Одессе. Некоторое время они шли молча, и вдруг он спросил:

— На окраинах утверждают, что вы тоже хотите покинуть этот город, этот «мертвый Брюгге»?

Тая Григорьевна действительно собралась в Ленинград и подтвердила это. Ильф замолчал, как пишет Тая Григорьевна, «на всю длинную дорогу» до ее дома, а накануне ее отъезда вручил ей маленький пакетик. В нем оказалась хрустальная печатка с двенадцатью гранями, на каждой из граней которой было вырезано по знаку зодиака и письмо:

Мой мощный друг! Уезжают на север и направляются к югу, восток привлекает многих, между тем как некоторые стремятся к западу. И есть еще такие, о которых ничего не известно. Они приходят, говорят прощайте и исчезают. Их след — надорванная страница книги, иногда слово, незабываемое и доброе, и ничего больше. Я снова продан, и на этот раз Вами, и о чем мне писать, если не писать все о том же? Неувядаемые дожди, сигнальный свет молний, вечер и пожар, а ночью Ваше имя, короткое, как римский меч. Я трогаю Ваши пальцы и говорю торопливо и хрипло: Хлоя или Помпея, это все равно. Так ее зовут. А Вы называетесь Ан, и что может быть короче? Но Вы подымаете руку, и снег налетает сразу, и это не снег, а дорогие мне знаки, это пчелы, и все перепутывается: вечер, пожар, свеча и перчатка. Я просыпаюсь к «Ars Amatoria» и черному хлебу. Нет больше оловянного потопы, дожди отступают по всей линии, мне остаются деревья из пепла и парк, наполненный рукоплесканиями. Это снова сон. Во имя Бога, какая жизнь! Так всегда. Ждать, покуда завертится круглый птичий глаз, молчать до этого, молчать после и говорить не умолкая, выбалтывать все, пока сдвинется и завращается круг. Иля.

В письме снова сон, в котором присутствуют дорогие ему знаки, и среди них свеча и перчатка — образы из юношеского стихотворения Таи Григорьевны «Пиковая дама»: «А пистолет в руке лишь свечка, упала голова седая, упало зеркало все в трещинах...»

### **Любезный друг**

Стотысячный тираж альманаха «Прометей» почти мгновенно растворился на огромной территории Советского Союза вместе с воспоминаниями Таи Григорьевны и письмами юного Ильфа, ставшими недоступными широкой публике. «Печалька», как говорят сегодня, но против законов времени не поспешь: «Новые песни придумала жизнь, не надо ребята о песне тужить», или как сказал другой поэт: «У каждой эпохи свои подрастают леса». Но друзья Таи Григорьевны многие годы в день ее рождения собирались у кого-нибудь на квартире, где по очереди делились воспоминаниями о ней, и на эти собрания регулярно приходил Гранин с женой Риммой Михайловной и дочерью Мариной. Правда, со временем собрания эти стали проходить уже не раз в год, а через год или два, а то и через три года, пока не прекратились совсем, да и дру-



зей этих становилось все меньше. Те из них, кто был помоложе, постепенно осознали, как рано Тая Григорьевна ушла — 63 года, совсем немного по нынешним временам. Почти всем, знавшим ее в свои молодые годы, лет теперь намного больше, но мудрости, как у Таи Григорьевны, ни у кого нет. Я же, думая о Тае Григорьевне, всегда вспоминал слова Ильфа из его последнего письма к ней: «Я снова продан, и на этот раз Вами, и о чем мне писать, если не писать все о том же? Неувядаемые дожди, сигнальный свет молний, вечер и пожар, а ночью Ваше имя, короткое, как римский меч». Тая! Мне всегда хотелось напомнить публике об удивительных письмах Ильфа, и в начале девяностых годов такая возможность вроде бы представилась. Я тогда подрабатывал на «Леннаучфильме», и однажды подумал — почему бы не сделать на основе публикации Таи Григорьевны фильм под названием «Письма Ильфа»? В то время мое киношное начальство, лишенное госбюджета и занятое мыслями о выживании, принимало в производство только представительские фильмы и рекламные ролики, но к моей идее отнеслось лояльно.

— Напиши литературный сценарий, — то есть без режиссерской разработки, — а там посмотрим, — сказала начальство, и я принялся за работу.

По моей задумке в начале фильма на экране должна была возникнуть фотография Таи Григорьевны и зазвучать такой текст: «Это лицо узнают все, кто бывал в доме писателя на Воинова, восемнадцать в пятидесятые—шестидесятые годы. Тая Григорьевна Лишина. Те, кого она хоть раз удостоила беседой, запоминали это надолго. Те же, кто общался с ней многие годы, могут считать себя счастливыми. Утверждаю это, потому что таким счастливым был сам». В конце этого монолога камера отходила, и оказывалось, что фото Таи Григорьевны держал в руках человек, только что объявивший себя счастливым, а на экране зажигались титры: «Доктор геолого-минералогических наук профессор Алексей Иванович Коротков». Показав фото, он укладывал его в семейный альбом и садился за домашнее пианино.

— Я спою «Песенку о милой Джейн» на стихи Багрицкого, которой в далекие двадцатые годы заканчивались вечера в одесском литературном кафе «Мебос», — объявлял профессор и лихо исполнял ее под собственный аккомпанемент.

На этом месте я задумался: а захочет ли уважаемый профессор петь в моем будущем фильме?

Алексей Иванович Коротков, для меня Алик, был сыном ближайшей подруги Таи Григорьевны — Лины Осиповны Коротковой. Она тоже уехала в 1922 году из Одессы, правда, вначале в Москву и только потом в Ленинград, где стала знаменитой художницей по костюмам, «обшивала» Северные хоры, которые в ее роскошных одеждах получали награды, звания и аплодисменты у нас и за рубежом. Ее муж, тоже художник, заслуженный деятель искусств России Иван Андреевич Коротков много лет прослужил главным художником в Большом театре кукол, и его прекрасные спектакли для множества послевоенных детей стали чуть ли не единственной радостью. Я тоже был одним из этих детей и, став взрослым, спрашивал творца, благо такая возможность была:

— Иван Андреевич, помните, какой прекрасный дворец выстроили вы в сказке про Аладдина?

— Представь, не помню, — отвечал он. При этом поглядывал на меня свысока, мол, ты зритель-потребитель, тебе положено помнить, что я сотворил когда-то, а мне, создателю неземной красоты, помнить ее необязательно.

— А море! Помните ваше море в «Сказании о Лебединце-городе»? — вспоминал я другой его спектакль.

— Не помню, — повторил он, и я начинал возмущаться:

— Как можно? Забыть такое красивое море, которое сам и построил!

— Ах, дружок, я за жизнь построил столько морей, — отвечал он снисходительно, но разговор этот был ему приятен.

У Лины Осиповны и Ивана Андреевича было двое прекрасных сыновей. Младший Володя, которого почему-то все называли Димой, пошел по их стопам, стал прекрасным художником и архитектором. А старший Алик с блеском окончил музыкальную школу-десятилетку, но поступил не в консерваторию, а в Горный институт и стал высококлассным специалистом в своей области. При этом музыку он не оставил, регулярно разучивал новые сочинения и писал статьи в музыковедческие журналы на тему «Классика сегодня». Однажды его пригласили принять участие в радиопередаче о домашнем музицировании. Он пришел на запись со студенткой консерватории, и они принялись играть фортепьянный дуэт Баха, однако через пару минут их остановил звукорежиссер:

— Ошибка. Начните сначала.

Они начали сначала, и снова их остановил звукорежиссер. Не удалась и третья попытка.

— Кто из них ошибается? — поинтересовался ведущий передачи. — Профессор?

— А вот и нет, — улыбнулся звукорежиссер. — Профессор не ошибается.

С пятого раза дуэт они все-таки записали.

Я пришел к Алику с первой страницей будущего сценария и «Прометеем» за 1968 год в руках. Алик поставил альманах на пюпитр пианино, открыл страницу, где были текст и ноты «Песенки о милой Джейн», и лихо ее исполнил.

— Здорово! — сказал я. — А ты не знаешь, откуда у Таи Григорьевны эти ноты? Ведь музыке она не училась. Или я ошибаюсь?

— Эти ноты записал я с ее голоса, — ответил Алик.

— Разве Тая Григорьевна пела? — удивился я.

— И очень хорошо. У нее был красивый голос. Настоящее густое контральто. Ты, наверно, не знаешь. До войны Тая, — Алик с детства называл ее по имени, — выступала как чтица. Появляться на эстраде она стеснялась, считала, что внешность у нее не подходящая: она всегда была полновата. Зато часто выступала на радио, работала в кукольном театре. А во время войны в госпиталях читала раненым лирические стихи. Начальство требовало патетики, но она держалась своей линии. После войны она на эстраде читала «Пиковую даму» Пушкина, и многие считали ее исполнение повестью непревзойденным.

Я вспомнил, как однажды Тая Григорьевна попросила меня привезти том альманаха «Литературное наследство», оставленный ей в книжном магазине на Литейном.

— А рассказ свой тоже принес? — спросила она настороженно, когда я привез альманах.

Я стал оправдываться, мол, времени чуть-чуть не хватило, но на следующей неделе обязательно...

— Очень хорошо, сегодня мы будем читать Бабеля, — обрадовалась она и моментально нашла нужный рассказ в толстенном альманахе.

Из того рассказа я помню только двоюродного деда будущего писателя, который торговал рыбой на рынке, от чего «толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами», а дома беспрестанно наставлял внука: «Учись!» Зато запомнил, как читала Тая Григорьевна. Оказалось, что в ее прокуренном баре таились и полутона, и обертона, и бог знает какие еще тона, причем владела она голосом не хуже, чем, скажем, признанный мастер художественного слова того времени Дмитрий Николаевич Журавлев. Никогда я не слышал, чтобы кто-нибудь так хорошо читал Бабеля. Рассказ в ее исполнении казался совершеннее, чем был написан. Впрочем, новость об артистическом прошлом Таи Григорьевны оказа-

лась в тот вечер не главной. Алик рассказал, что второй из «нежных и удивительных», к которым обращался в письмах Ильф, была его мама, Лина Осиповна Короткова, и существуют еще два его письма, адресованные одной ей.

— И где же они? — спросил я, ожидая услышать что-нибудь вроде где-то лежат, а где — не припомню.

— Там же, где и письма, опубликованные в «Прометее», — сказал Алик будничным голосом. — В моей папке, на обложке которой я написал «Реликвии». Одно время я хотел передать их в одесский музей, но передумал — все-таки заграница, мало ли как сложатся отношения.

Алик на минутку вышел из комнаты и вернулся с канцелярской папкой, откуда извлек два каких-то довоенных незаполненных бланка, обратная сторона которых была исписана уже знакомым мне почерком. Это был сюрприз — два неопубликованных письма Ильфа! Такое везение случается даже не у каждого профессионального литературоведа. Оба письма написаны в 1922 году, когда Лина Осиповна жила в Москве. В первом из этих писем снова присутствует сон. Ильф писал:

Любезный друг!

Мне читали Ваше письмо из больницы. Между Кремлевской стеной и голландскими печами Вы поместили там и мое имя. И это исполнило меня радостью, правда, гораздо меньшею нежели та, какая была вызвана Вашим выздоровлением. Что-то я сделал Вам, чего по свойственной мне грубости нрава не сознаю и посейчас. Но было это то, в чем нужно просить прощения. И так, я прошу одного ко мне милосердия. Милосердие, мой друг, единственно лишь Ваше милосердие, еще может спасти меня. Я ожидаю от Вас письменного разрешения моих грехов до той благословенной поры, когда и мне будет надлежать Москва. О время, когда зацветет свечами дерево Преображенской улицы. Тогда я покину родные академии и уеду в Петербург. Мой путь будет лежать в Москву. Моя верность приведет меня к Вам, а Вашим милосердием мне будет подарена жизнь. А моя жизнь — все тоже. Дымный мороз и санки слетают на Греческий мост, но приходит ветер западный и южный, и ничто, даже самое яростное воображение весны, не заменит Вам западного и южного ветра в феврале. В городе, где так много любви и так много имажинизма, каждое утро я говорю: «Пусть вы все будете прокляты в своей любви, как я проклят в своей ненависти. И пусть, взглянув на небо, вы не увидите ничего, ни ангелов, ни властей». День проходит в брани и проклятиях, а ночи еле хватает для снов, на маленьком пароходе мне надо плыть в Лондон, мои морские познания разворачиваются во всем блеске своего невежества, и лишь стыд перед капитаном с головой голый, как яйцо, побуждает меня проснуться. Ночью я вспоминаю осень и пожар, и осень — это один пожар, будто не было иного.

И так, Вы видите, во мне нет изменений. По-прежнему, предоставив небо птицам, я все еще обращен к земле.

Ожидаю Вашего письма, будьте многословны в разговорах о себе и точны в описании Москвы. Живите возвышенно и не ешьте дурного хлеба. Его с большим удобством можно заменить шоколадом.

На окраинах, утверждают, не пишут больше стихов. Что же касается до Таи, то сочетание скверных папирос, речей по поводу некоего Уисполкома и страсть к громкой речи делают ее поразительной. А зимой так трудно удивляться. И мне трудно! Если в Москве есть хорошие книги, надеюсь на Вас, а я Ваш друг Иля. 16/II 22 г.

В этом письме эмоционально выделялся абзац: «Пусть вы все будете прокляты в своей любви, как я проклят в своей ненависти. И пусть, взглянув на небо, вы не увидите ничего, ни ангелов, ни властей». Я спросил у Алика, посчитав его экспертом по маминым письмам, а заодно, помня об его эрудиции, по всем на свете вопросам:

— Он так не любил советскую власть? А сон, в котором он едет в Лондон, не означал ли, что Ильф мечтал уехать из страны? И почему в таком случае он не уехал? Ведь тогда это было еще возможно, многие так и поступили.

— Уверенно сказать, чего хотел Ильф в 1922 году, я не могу, а спросить уже не у кого, — грустно улыбнулся Алик. — Но Ильф не Набоков, которому все равно было, на каком языке писать. Конечно, некоторые, как Эзра Александров, даже стихи научились писать на чужом языке. Но Ильф собирался строить литературную карьеру на русском языке, не зря же мечтал о *«той благословенной поро, когда и ему будет надлежать Москва»*. А что до нелюбви к советской власти, думается мне, Ильф ощущал бы себя лишним человеком при любой власти. Ему был присущ трагизм, скрывающийся за остроумием и веселостью. Когда на экраны вышел «Золотой теленок», критики упрекали Юрского, что его Остап чересчур умен, прямо философ, а не Остап. На мой же взгляд, Юрский и Швейцер прочли роман внимательней, чем их критики, и поняли, что Остап — фигура трагическая. А я всегда знал, что ужасная гибель Остапа в романе «Двенадцать стульев» и перевоплощение его в управдомы в «Золотом теленке» есть итог трагедии, которую он носил в себе. Так же как безвременная кончина самого Ильфа — последняя точка в его собственной трагедии, о наличии которой свидетельствуют все упомянутые выше его письма, и не только. Впрочем, слава богу, трагедийность эта проявлялась не всегда, что подтверждает письмо, которое он написал упавшей духом маме, когда она находилась уже в Петербурге.

Гражданка Лина.

Считаю лирическую часть моего письма оконченной и начинаю с середины, закройте дверь, я ожидаю к себе уважения. Именно так, и я сказал то, что сказал.

Можно увидеть женщину, возникающую из пены и грязи Лонжерона, в шляпе, вуали и купальном костюме, образованном тугим корсажем и юбкой выше примечательных колен. О бесстыдство и привлекательность. Вульгарно и непристойно изображал таких художник Фелисьен Ропс. Можно увидеть собак, пораженных любовью, и Закат «в сиянии и славе нестерпимой» и еще, и снова, и опять, и так, как оно было, и так, как этого никогда не бывает, а я стою в сей малой куче и говорю: «Никто не знал любви до меня, и никто не узнает ее после меня». Именно так и я сказал, что говорили другие.

Впрочем, тревоге нет оснований, и в этом деле преданность прошлому обещает многое в предстоящем. Если Женя Окс имеет до Вас касательство, полагаюсь на Вас в передаче ему некоторого известия. Тому причиной была польская водка. Словом, я его потерял. И это очень жаль. Он был великолепен. К тому же подарен в благословенные времена. Теперь я ношу галстук, какой в Америке носят негры, а в Европе никто не носит. Естественно, что мне остались только поцелуи. Только упорным трудом можно спасти республику. Говорю Вам, даже собаки поражены любовью. А Славин, я говорю Вам, Славин тоже. Лева, дитя мое, он погиб.

Вы говорите — море. Очень может быть. Улица Белинского — весна. Вероятно. А я говорю — бросьте — это не дело. Отвратитесь. В Петербурге, понятно, акаций нет. Но возрастите ее в комнате. Вдохните, о аромат, благоухание, первый день на неделе и первый на земле. Ветер идет с юга. Он придет ранее этого письма. Облака и все сдвинулось к северу. Это начинается у Вас позднее, нежели здесь. Но пусть сопроводит Вас успех. Я пребываю вплоть до Вашего письма. Иля. 5-ый июль 1922 года.

Очень образованный Алик Коротков снова подтвердил свою эрудицию, пояснив, что строчка «в сиянии и славе нестерпимой» взята из «Гавриилады» Пушкина, а упомянутый в письме Женя Окс — будущий знаменитый художник. Не пояснил он только, не означает ли строчка «преданность прошлому обещает многое в предстоящем» на-

личие романтических отношений между совсем юной Линой Осиповной и Ильфом, которому уже было двадцать пять. Впрочем, чуть ниже он сообщает, что теперь носит галстук, какой в Америке носят негры, а в Европе никто не носит, и по этой причине ему остались только поцелуи. Вряд ли влюбленный писал бы такое предмету своих чувств, да и похожую на статс-даму Лину Осиповну трудно представить в роли романтической героини, пусть и сорок лет назад. Но я не знал ее в молодости, так что вопрос оставался, только задать я его постеснялся, а напоследок спросил про другое:

— Помнишь, Алик, Тая Григорьевна писала, что, когда она уезжала из Одессы в Ленинград, Ильф подарил ей на прощание хрустальную печатку с двенадцатью гранями, на каждой из которых было вырезано по знаку зодиака? Ты знаешь, где сейчас эта печатка?

Вопрос этот я задал для порядка, поскольку друзей у Таи Григорьевны было много, и если эта печатка не потеряна, храниться могла у кого угодно. Но всезнающий Алик опять меня не разочаровал.

— Печатка у Даниила Александровича Гранина. Тая подарила ему на какую-то дату. Ты же знаешь, Гранин познакомился с Таей, будучи начинающим писателем, и дружил с ней до конца ее дней, — сказал Алик и добавил: — Я думаю, он согласится участвовать в твоём фильме. Можем позвонить ему прямо сейчас.

Идея Алика была великолепна. Я тут же представил, как в будущем фильме Алик скажет в камеру, что переход печатки от Ильфа к Гранину символизирует связь времен, а потом появится сам Гранин, и Алик задаст ему умные вопросы, на которые получит еще более умные ответы. Например, Алик спросит:

— Даниил Александрович! Вы же читали письма Ильфа. Что, по-вашему, они добавляют к тому, что мы знаем о нём?

А Гранин ему ответит:

— Ну, во-первых, эти письма — свидетельства жизни молодого Ильфа, и в этом их главное значение. Во-вторых, с помощью этих писем можно предположить и даже понять, насколько характер Ильфа отразился в его героях. Я говорю о смеси грустного и веселого, которая присутствует во всех его письмах и просматривается в образе Остапа Бендера. И еще об адресатах этих писем — Тае Григорьевне Лишиной и Лине Осиповне Коротковой. Всю жизнь они оставались верны своей талантливой молодости, полной романтики и поэтической отваги. Эти же романтика и отвага заполняют письма Ильфа, которые Тая Григорьевна и Лина Осиповна сохранили, пройдя сквозь выпавшие на их долю нелегкие годы.

— Так что, будем звонить Гранину? — прервал мои размышления Алик.

— Подождем, — ответил я, немного подумав. — Надо закончить сценарий и, главное, утвердить у начальства.

— Разумно, — согласился Алик.

На том и порешили. Я дописал сценарий и показал его руководителю студии, с которой сотрудничал.

— У меня только один вопрос, — сказал тот, прочитав сценарий. — Ты монолог Гранина записал слово в слово? Ничего не напутал? Уж очень эти люди негодуют, когда их неточно цитируют.

— А я его не цитировал. Просто сконструировал его речь для целостности картины. Часть взял из некролога Тае Григорьевне, который он подписывал, остальное додумал, но это не важно. Наверняка Даниил Александрович скажет и умнее, и интереснее.

— А ты уверен, что Гранин согласится участвовать в фильме?

— Процентом на пятьдесят. Он не на все приглашения откликается, но надеюсь, мы с Аликом его уговорим. И его дочь Марина нам поможет.

Руководитель студии задумался. А потом изрек:

— Решим так. Я покажу твой сценарий одному олигарху. У него денег куры не клюют — истинный Крёз, при этом большой любитель Ильфа и Петрова, цитирует их к месту и не к месту. Для него деньги на твой фильм — мелочь.

Слова олигарх и Крёз на меня очень действовали. «Почему бы человеку с сумасшедшими деньгами не вложить ничтожную часть их в кино, тем более на близкую ему тему? Я бы на его месте вложил», — рассуждал я и стал ожидать скорого начала съемок. Но прошла неделя, потом еще две, и я услышал, что Крёз денег не дал.

— Оказалось, он любит Ильфа и Петрова платонической любовью, — оправдывался мой киношный руководитель. — Я пытался сыграть на его тщеславии, обещал написать на титрах в начале и в конце фильма его фамилию в пол-экрана, а он в ответ цитатку из Экклезиаста: «Мудрого не будут помнить, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто». Кого он имел в виду под «мудрым» — себя или Ильфа, я не понял, зато уразумел другое: вкладываться в некоммерческий фильм он не будет.

Через много лет после своих приключений на «Леннаучфильме» я встретил на улице своего бывшего киношного руководителя. Он постарел, но продолжал работать, где и раньше работал.

— Привет! — воскликнул он, словно мы расстались максимум неделю назад. — Чем увлекаешься? Сценарии пописываешь?

— Слава богу, нет.

— Скажи, а твой сценарий о письмах Ильфа сохранился? — спросил он, словно продолжая разговор, не законченный много лет назад.

Я ответил, что лежит где-то в столе.

— Здорово, — обрадовался мой бывший руководитель. — Тащи-ка его к нам. У нас снова Госбюджет, подадим заявку, и года не пройдет, как откроют финансирование.

— Боюсь, с этим предложением вы опоздали.

— Что так?

— Некого снимать. Алик умер. А недавно не стало Даниила Александровича.

— Печально, — вздохнул он, — но кино остановить нельзя. Вместо Алика снимем какого-нибудь литературоведа, а еще лучше — актера хорошего. А Гранина заменит его дочь.

— Ничего не выйдет, — сказал я. — Алика никто не заменит. Гранина тем более.

— Послушай! Не надо реализовывать эту ужасную формулу Экклезиаста: «...в грядущие дни все будет забыто». Конечно, будет, но по возможности надо препятствовать этому. Фильм, в котором прозвучат имена Ильфа и Гранина, может заинтересовать нынешнюю публику. Вот тебе моя визитная карточка. Одумаешься — позвони.

Он ушел, очень недовольный мной, и, видимо, был прав. Но представить в своем фильме вместо Алика Короткова и Даниила Александровича Гранина других, пусть даже очень достойных, людей я не смог и написал текст, в котором помимо писем Ильфа присутствует рассказ об их адресатах, а также о том, как фильм о них не состоялся.